
ЮРИЙ ПАВЛОВ

“КЛАССИКА И МЫ”: ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Дискуссия “Классика и мы” проходила 21 декабря 1977 года в ЦДЛ. Совпадение с днем рождения Иосифа Сталина – в чем увидели символическую заданность некоторые участники дискуссии и зарубежные СМИ – чистая случайность. Сегодня, тридцать лет спустя, самыми значительными, глубокими выступлениями мне представляются выступления Станислава Куняева, Михаила Лобанова, Серго Ломинадзе, Ирины Роднянской.

Наибольший же резонанс, в том числе негативный, вызвала речь Ст. Куняева. Такая реакция объясняется тем, что Станислав Юрьевич затронул проблему сущности отечественной классики и русской литературы вообще (именно это до сих пор не оценено в полной мере) на примере творчества Э. Багрицкого, которого друзья и почитатели записали в классики. Оппоненты Куняева заметили в его выступлении лишь ссылки на еврейские реалии из произведения Багрицкого и на то, что поэт отлучен от русской литературы. Уже это стало основанием для обвинений Станислава Юрьевича в антисемитизме. Показательно, что и через тринадцать лет после дискуссии Н. Иванова в статье “Возвращение к настоящему” продолжала утверждать: “Но не ради анализа содержания поэм Багрицкого вышел Куняев. Главное – разоблачить “ущемленность своим происхождением” (разумеется, неполноценным), “преодоление своих комплексов” (опять-таки национальных)” (“Знамя”, 1990, № 8).

Я еще вернусь к бездоказательным обвинениям Натальи Ивановой, сейчас же отмечу, что не только она и оппоненты Куняева, но и его сторонники, реальные и мнимые, слишком вольно толковали данное выступление. Татьяна Глушкова, например, ознакомившись со статьей Станислава Юрьевича (через год ставшей текстом его выступления на дискуссии), в письме к нему от 20 декабря 1976 года высказала свои соображения, имеющие, в лучшем случае, лишь косвенное отношение к статье.

Нетрудно заметить, что мысли Т. Глушковой – это “левые” мысли разной чистоты, как, в частности, следующая, взятая будто из переписки Михаила Гершензона с Василием Розановым: “Не боясь утратить свою <...> самобытность, помнишь, сколь необходимы были еврею нам: для становления нашего национального характера, имея в виду культуру духа, русскую культуру вообще...” (“Наш современник”, 2005, № 12).

Из содержательного ответа Ст. Куняева приведу рассуждение, выводящее на тему выступления. Станислав Юрьевич (с подачи Глушковой), говоря об отличии нынешних “победителей” (с уверенностью можно конкретизировать – евреев) от норманнов, мавров, турок, татар, русских, обращает внимание на то, что они боятся, как черт ладана, когда вещи называются своими именами. “Инстинкт слабых все время заставлял их скрывать свои

победы, маскировать их, делать их якобы анонимными. Один Багрицкий проговорился...” (“Наш современник”, 2005, № 12).

Итак, что бы ни писала Н. Иванова о выступлении Ст. Куняева, что бы ни приносили в него сторонники и противники Станислава Юрьевича, реальный пафос его выступлений иной, не утративший своей актуальности и сегодня. По Куняеву, поэзия Багрицкого направлена против всего, “что поддерживает на земле основы жизни”. И как следствие – неприязнь и ненависть поэта к человеку, который создает традиционные ценности, материальные и духовные. Таким образом происходит разрыв с гуманистической традицией (тогда возможно было сказать точнее – христианским гуманизмом) русской литературы, которую Куняев характеризует, в частности, так: “Наши классики могли увидеть в этой заурядной человеческой особи всегда нечто значительное”. Как известно, по-другому об этом говорил Федор Достоевский, определяя свое кредо: “Найти человеческое в человеке”.

Ст. Куняев справедливо считал: полный разрыв Багрицкого с русской литературой состоит и в том, что он в своем творчестве оправдывает разрыве крови. И Станиславу Юрьевичу не нужно было ничего выискивать, выдергивать отдельные строки из текстов, в чем его упрекали Е. Евтушенко, Н. Иванова и другие “левые”. Пафосом кровавого человеконенавистничества пропитаны “Дума про Опанаса”, “ТВС”, “Смерть пионерки”, “Февраль” и т. д. Правда, при всем своем людоедстве, при всей своей нравственной аномальности Эдуард Багрицкий не достигает той точки падения, которая характерна для фантазий лирического героя в “Песни” Михаила Светлова:

*В такие дни таков закон:
Со мной, товарищ, рядом
Родную мать встречай штыком,
Глуши ее прикладом.
Нам баловаться сотни лет
Любовью надоело.
Пусть штык проложит новый след
Сквозь маленькое тело...*

Думаю, вполне закономерно, что Ст. Куняев через десять лет после дискуссии в статье “Ради жизни на земле” (“Молодая гвардия”, 1987, № 8) приводит строчки А. Прасолова “Забудь про Светлова с Багрицким” и делает соответствующий вывод: “<...> Это означало, что поэт другого поколения бесстрашно и точно сформулировал суть нового мышления, нового гуманизма...”. Е. Евтушенко, вечный оппонент Ст. Куняева, в этих словах увидел “оскорбительные обобщения, на которые не решались даже в худшие времена” (“Литературная газета”, 1988, № 2). И в своем письме-кляузе “Премированное недоброжелательство” привел такие трескучие, примитивно-пустые контраргументы: “Нет, не может быть нового мышления, частью которого не стала светловская “Гренада”, ибо новое мышление зиждется не на узком национализме, исторически переходящем в шовинизм, а на великих идеях интернационального братства”.

Собственно национальная, еврейская, тема, на которой зациклились многие, появилась только во второй половине выступления Ст. Куняева, и акценты в трактовке ее расставлены совсем по-другому, чем это привиделось Е. Евтушенко, Н. Ивановой и другим. Станислав Юрьевич обращает внимание на то, что Э. Багрицкий отрешается не только от быта, чуждого ему по происхождению и воспитанию, но и “родной ему <...> местечковости. Он произносит по ее адресу такие проклятия, до которых, пожалуй, ни один мракобес бы не додумался”. На разных примерах из поэзии Багрицкого Ст. Куняев показывает бессердечность, жестокость, физиологическую злобу героя к своему родному – еврейскому – миру. И это отношение, с точки зрения русского поэта, удручающе, противоестественно, оно – волчье.

Обвинения или подозрения Ст. Куняева в антисемитизме разбиваются и о сравнение поэзии Э. Багрицкого с творчеством А. Фета и О. Мандельштама. Станислав Юрьевич приводит высказывания мемуаристов, ставящих Э. Багрицкого – по чувству природы – в один ряд с классиками русской литературы – от автора “Слова о полку Игореве” до А. Фета и И. Бунина. Опровергая эту точку зрения, Ст. Куняев убедительно показывает, что автору

“Папиросного коробка” природа чужда и враждебна. В основе такого отношения лежит мироощущение поэта, принципиально отличное от традиционного русского. Ст. Куняев так, в частности, мотивирует данное утверждение: “У Афанасия Фета была та же болезнь, что у Багрицкого, – астма. Но физические страдания не заставили его ненавидеть “все, что душу облекает в плоть”. Наоборот, обостренное чувство скоротечности жизни рождало и питало весь пантеизм Фета. Все его творчество как бы молитва прекрасному земному бытию и благодарность за радость жизни”.

Ясно, что национальное происхождение Фета, еврея по отцу, для Ст. Куняева не играет никакой роли, ибо поэт по-русски ощущает природу и мир. Русскость А. Фета за истекшие тридцать лет неоднократно подтверждалась разной аргументацией и с разных позиций, в том числе взглядом “со стороны”. Яков Рабинович в книге “Быть евреем в России: спасибо Солженицыну” (М., 2005) приводит такую говорящую параллель: Юрий Нагибин, сын русских родителей, “был гораздо больше евреем”, чем “композитор Рихард Вагнер и поэт Афанасий Фет, хотя оба, живя сегодня, имели бы право по Закону о возвращении стать гражданами Израиля как дети отцов-евреев”.

Другое сравнение Ст. Куняева (О. Мандельштам в отличие от Э. Багрицкого продолжил гуманистическую традицию русской классики) было замечено многими, и “левыми” оценено негативно. Скорее всего, Е. Евтушенко лукавил, когда на той же дискуссии заявил: “Я не знаю, кто из них лучше, но оба они прекрасные поэты”. Что же касается другого довода Евгения Александровича: “Но зачем же Мандельштамом бить Багрицкого”, – то у Станислава Юрьевича, уверен, не было желания искусственно поднимать одного поэта за счет другого: без таких оценок по “гамбургскому счету”, без подобных параллелей невозможно объективно определить значение и место любого писателя в истории литературы.

На протяжении последних тридцати лет отношение Ст. Куняева к Э. Багрицкому осталось неизменным, о чем, в частности, свидетельствует следующая чеканная характеристика: “Апологет коммунистической русофобии и революционного палачества” (“Наш современник”, 1994, № 2). Взгляд Ст. Куняева на О. Мандельштама не раз корректировался.

В интервью 1989 года “Идея и стихия” он говорил, что Мандельштам “вольтовой дугой своего таланта” соединяет два мира: ветхозаветный, мифический и русский, реальный. В данном интервью четко не сказано, к какой литературе Куняев относит поэта. Но с учетом того, что говорится о делении на русскую и русскоязычную литературу и с каким пониманием цитируется Лион Фейхтвангер (“По убеждению я интернационалист, по чувству я еврей, по языку я немец”), Мандельштама можно отнести, если использовать мою классификацию, к амбивалентно-русским писателям.

Еще через четыре года в “Прогулках с Мандельштамом” (“Наш современник”, 1994, № 2) Ст. Куняев признается, что по истечении времени ему стала очевидной поверхностность его мысли, высказанной в ходе дискуссии “Классика и мы”: Мандельштам – продолжатель гуманистической традиции русской классики. В 1990 году Станислав Юрьевич, по его признанию, казалось бы, готов был согласиться с логикой организаторов мирового этнографического центра в США, для которых Мандельштам – олицетворение еврейства, Израиля. Однако в конце “Прогулок...” он высказывает сомнения в правильности такой прописки поэта: “Так что не усидит Осип Эмильевич в маленькой еврейской этнографической комнатке”; “А может быть, не столько Осип Мандельштам “наплывал на русскую поэзию”, сколько она “наплывала” на него, преобразовывая, насколько это возможно, иудейский хаос в частичку того теплого и человеческого душевного мира, который мы называем “русским космосом”.

В последней на сегодняшний день работе Ст. Куняева об О. Мандельштаме “Крупнозернистая жизнь” (“Наш современник”, 2004, № 3) показывается, как меняется мировоззрение и творчество поэта на протяжении 30-х годов. Об этих изменениях применительно к муссируемой “левыми” теме происхождения сказано так: “Жизнь без наживы! Подобное состояние для Осипа Эмильевича, порвавшего еще в юности с “хаосом иудейским”, с культом золотого тельца, ушедшего в русскую бескорыстную литературную жизнь, было вполне естественным”. И, продолжая тему, Ст. Куняев уточняет: “Жизнь без наживы”, русско-советское бессребреничество было по душе Мандельштаму”.

Или о другом стихотворении с позиций того же происхождения говорится: “<...> В поистине сказочном финале <...> гордец Мандельштам <...>, смилив свою иудейскую жестоковьюность, приносит покаяние вождю <...>, о котором написал неправду”.

В отличие от многих авторов Ст. Куняев считает, что воронежские стихи, о И. Сталине в частности, написаны искренне, в здравом уме, они – вершина в творчестве поэта. Хотя вопрос о “прописке” О. Мандельштама в данной статье не поднимается, но по тому, что говорится, с уверенностью можно утверждать: Осип Эмильевич для Куняева, как и во времена дискуссии “Классика и мы”, – русский поэт.

Возвращаясь к дискуссии, отмечу, что в ней, как бы ни представляли данное событие западные СМИ, принимали активное участие идейные противники П. Палиевского, В. Кожина, Ст. Куняева, М. Лобанова и других русских патриотов. Назову тех, кто открыто не принял, осудил выступление Ст. Куняева. Это А. Борщаговский, А. Эфрос, Е. Сидоров, Е. Евтушенко и примкнувший к ним Ф. Кузнецов. Они по-разному избегали полемики как аргументированного отстаивания своей точки зрения через опровержение доводов оппонента, ограничиваясь констатацией личного отношения, как А. Борщаговский (“Ну, Багрицкий – это, так сказать, частный выпад. Для меня неприятный, я бы сказал более того – гадкий”), либо оценками общей, аксиоматической направленности, как Е. Евтушенко (О. Мандельштам и Э. Багрицкий – “оба прекрасные поэты”).

Через одиннадцать лет Е. Евтушенко в своей поэтической антологии “Русская муза XX века” написал о Э. Багрицком с явным оглядом на выступление Ст. Куняева, имя которого не было названо. Евгений Александрович привел одну из цитат, звучавших в речи Станислава Юрьевича. Привел одну из самых “мягких” цитат на еврейскую тему:

*Любовь?
Но съеденные вшами косы,
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.*

Если у Ст. Куняева о таком отношении сказано как о противоестественном, злобном, волчьем, то у Е. Евтушенко – принципиально иначе, щадяще мягко. Вышеприведенные строки он предваряет словами: “Багрицкий умел писать не только красиво, а иногда и жестко, почти жестоко” (“Огонек”, 1988, № 35).

Проповеди же человеконенавистничества, утверждению философии разрешения крови Е. Евтушенко находит удобное объяснение. Он в духе известной традиции кивает на время и реанимирует мифы из биографии поэта: “Багрицкий безоговорочно принял революцию, сражался в особых отрядах и, принимая время, желая быть вместе с ним, впадал вместе с временем в его ошибки”.

Во-первых, еще в 1974 году вышла книга Олега Михайлова “Верность”, в которой объективно и трезво – с подачи самого Багрицкого, при помощи цитаты из его стихотворения “Рассыпанной цепью” – определено творческое кредо поэта в тот период:

*<...> Друзья,
Облава близится к концу! Ударит
Рука рабочья в сердце роковое,
И захрипит, и упадет тяжелый
Свирепый мир – в промерзшие кусты...
А мы, поэты, что во время боя
Стояли молча, мы сбежимся дружно,
И над огромным и косматым трупом
Мы славу победителю споем!*

В контексте этих строк и умения Багрицкого писать на любые заданные темы свидетельство Максимилиана Волошина, приводимое Иваном Буниным,

не выглядит неожиданным: “Поэт Багрицкий уехал в Харьков, поступил в какой-то отряд. Я попросил у него стихотворение для 1 мая, он заявил, смеясь: “У меня свободных только два, но оба монархические” (Устами Буниных. Дневники. В 2-х т. – Т. 1. – М., 2005).

Во-вторых, я не знаю, что имеет в виду Евгений Евтушенко, когда пишет, что Багрицкий “сражался в особых отрядах”... Быть может, краткосрочную службу при агитпоезде?

В-третьих, философией исторического фатализма можно оправдать все, в том числе и фашизм. При этом ошибки пусть останутся ошибками, а преступления – преступлениями...

Известные же строки из “ТВС”, приводимые Ст. Куняевым, Е. Евтушенко называет срывом “в попытках философского осмысления мира”. И далее, защищая Э. Багрицкого, он выдвигает такую в высшей степени необубедительную версию: “Но нельзя выдавать эти строки, написанные в 29-м году, видимо, во время депрессии, за философское кредо всей поэзии Багрицкого, как пытались это делать недобросовестные интерпретаторы”.

Конечно, доказательства депрессии отсутствуют, но если бы они и были, все равно это ничего не объясняет. Поэт морально, духовно здоровый, в какой бы депрессии он ни находился, такое не придумает. К тому же “депрессия” у Э. Багрицкого была затяжная, многолетняя, как минимум, начиная с 1926 года, с “Думы про Опанаса” (которую Е. Евтушенко называет лучшим творением поэта) и заканчивая “Февралем” (1933–1934), годом смерти. Эти и другие программные, как уверяют, лучшие произведения Багрицкого проникнуты пафосом человеконенавистничества. Напомню лишь тот факт, который у Е. Евтушенко и И. Волгина, автора предисловия к сборнику поэта “Стихотворения и поэмы” (М., 1987), отсутствует. Э. Багрицкий так решает до суда судьбу несчастных, невинных, проходивших по “шахтинскому делу”:

*Семь в обойме,
Восьмой в стволе –
Должны быть нашим ответом!*

В своем выступлении Ст. Куняев точно передает основной мотив поэмы “Февраль”: еврейский юноша насилует русскую девушку, используя свое новое чекистское положение, и видит в этом своеобразную месть за себя и своих предков. Через тридцать лет в “Лейтенантах и маркитантах” (“Наш современник”, 2007, № 9) Станислав Юрьевич обращает внимание на эпизод из жизни Давида Самойлова, который, на мой взгляд, стоит в одном ряду с “местью” из “Февраля”. Куняев не проводит параллелей с Багрицким, он видит в случае с Дезиком проявление давней, ветхозаветной традиции.

Итак, Давид Самойлов после “первой ночи” со Светланой Аллилуевой сообщил своему другу Грибанову: “Боря, мы его трахнули”. Замечу, что у друга Дезика возмущение вызывает не слово “его”, а “мы”. На реплику Грибанова: “А я-то тут при чем?”, – Самойлов ответил: “Нет, нет, не спорь, я это сделал от имени нас обоих!”. Станислав Куняев так, в частности, комментирует этот мерзопакостный диалог двух интеллигентных литераторов: “Дезик мог бы еще добавить – и от имени всего нашего еврейского народа, поскольку ситуация зеркально копировала ветхозаветную историю о том, как еврейская девушка Эсфирь соблазняет персидского тирана Артаксеркса <...>. Но в этом сюжете роль соблазнительницы Эсфирь играет поэт Дезик Кауфман, роль соблазненного царя <...> – принцесса Светлана Сталина. А роль грозного Антисемита – врага еврейского народа – сам Сталин, уже лежащий в могиле, или тень его... Мсть свершилась. <...> Не просто ее соблазнили, но через нее – ему отомстили”.

Станислав Юрьевич сообщает о том, как по-разному реагирует ифлиец Давид Самойлов, воспитанный на первой волне русскоязычных авторов (В. Маяковский, Э. Багрицкий, М. Светлов и т. д.), на его – Куняева – выступление. В дневнике Дезик делает вполне предсказуемую запись: “Палиевский, Куняев и Кожин выкинули фортель на обсуждении темы “Классика и современность”. Честолюбцы предлагают товар лицом. Люди они мелкие. Хотят куска власти. Интеллигенты негодуют и ждут конца света”. В письме же к Ст. Куняеву его “наставник” был терпимо-корректен: о том, что у него действительно было на душе и в мыслях, сказано так: “Я думаю, что между нами

ничего дурного не происходит. Просто по российской привычке все путать мы путаем мировоззрение и нравственность”; “Призываю и тебя быть терпимее и не возбуждать себя до крайностей”.

В размышлениях Ст. Куняева о письме и дневниковой записи Д. Самойлова вновь, вполне естественно, возникает Э. Багрицкий: “Я-то думал, что он, “гуманист и философ”, поймет мой бунт против Багрицкого, осудит вместе со мной страшные идеи местечковых чекистов <...>. Нет, Дезик ничего не сказал о кровопролитии, которое воспел и прославлял Багрицкий-Дзюбин <...>. Дезик промолчал о той крови, как будто ее и не было. Но осудил меня за то, что якобы мое выступление на дискуссии призывает к кровопролитию”.

В этой очередной главе из мемуаров Ст. Куняева вскользь говорится об “одесской школе”, о русскоязычных литераторах, перекочевавших в столицу. Во-первых, Станислав Юрьевич через тридцать лет совершенно точно прописывает статус Багрицкого и “компаний” – русскоязычные. Раньше это понятие Куняев не использовал и не относился к нему критически, о чем говорил в интервью “Идея и стихия” (“Литературная Россия”, 1989, № 33). Во-вторых, данное перекочевание напрямую связано с реализацией того заветного, что Эдуард Багрицкий выразил в “Феврале” и что, если не ошибаюсь, никем не комментировалось. В поэме показательна и символична надежда героя, в которой – мечта автора: “Может быть, мое ночное семя // Оплодотворит твою пустыню”.

Несомненно, Эдуард Багрицкий стремился “оплодотворить” “пустыню” классической литературы и русского сознания. С этой целью он и все известные писатели-одесситы перебрались в Москву и вскоре, по словам В. Катаева, ее завоевали. “Победе” способствовало многое, но в первую очередь власть и еврейско-одесская солидарность, о которой Э. Багрицкий говорит открыто в своих письмах.

В 1926 году он, уже москвич, дает такой дельный совет Н. Харджиеву: “Я слышал, что вы написали хороший сценарий. В Одессе, городе рыжего пива и черных евреев, вам, конечно, этот сценарий устроить будет трудно. Здесь же, в Москве, городе рыжего пива и русских кацапов, это сделать легче... Я постараюсь его устроить через Шкловского или Гехта” (Багрицкий Э. Письма. // Литературное наследство. – Т. 74. – М., 1965). Двумя годами позже Э. Багрицкий в письме к Т. Тэсс делает знаменательное признание: “Как честный представитель одесской нации <...>, я посылаю вам привет через полярный круг...”. Уточню: привет отправлен из Кунцева в Одессу, то есть не вызывает сомнения, что для “честного представителя одесской нации” вся Россия – это ледник...

Да, опасения Василия Розанова, выраженные в письме к Михаилу Гершензону еще в 1909 году (“Боюсь, что евреи заберут историю русской литературы и русскую критику еще прочнее, чем банки”), оправдались через десять с небольшим лет. Только необходимо уточнить, что помимо евреев “победителями” стали и денационализированные русские типа В. Маяковского.

И как одно из многочисленных последствий этого “завоевания”, нравственность миллионов несчастных советских школьников не одно десятилетие воспитывали на “Смерти пионерки” Э. Багрицкого, где среди многочисленных чудовищных строк есть такие:

*Возникай, содружество
Ворона с бойцом, –
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.*

Выступление Станислава Куняева стало первым публичным “нет” такой поэзии, таким ценностям, не совместимым с ценностями русской литературы.

Среди критиков Ст. Куняева и “правых” вообще особняком стоит выступление Феликса Кузнецова. Станислав Юрьевич в своих мемуарах, со слов самого Кузнецова, так объясняет его поведение. Феликс Феодосьевич только

возглавил Московскую писательскую организацию и выступления П. Палиевского, Ст. Куняева, В. Кожина воспринял как подкоп под него, руководителя этой организации.

Даже если принять на веру эту необедительную версию Кузнецова, то она ничего не объясняет, ибо выступление Феликса Феодосьевича ничем не отличалось от того, что он писал за, скажем, десять лет до дискуссии и столько же лет после нее. Все идеи, вся аргументация в выступлении Кузнецова выдержаны в привычном для него духе марксизма-ленинизма, реальной критики и т. д. Нет смысла приводить примеры этой идейно-выверенной пусто-порожней трескотни. Прочитав одно характерное высказывание, которое звучало в унисон с оценками “левых”: “Я не могу понять, почему мы должны отсекал Багрицкого, прекрасного советского поэта, творчество которого на-полнено гуманистическим смыслом, который работает на добро и на свет? <...> Багрицкий – это наше достояние”.

Другая мысль Ф. Кузнецова: “Но, откровенно говоря, немножко неправильно вступать в драку Станиславу Куняеву <...> с поэтом, который ответить тебе не может”, – была подхвачена Е. Евтушенко. Он, отталкиваясь от выступлений П. Палиевского и особенно Ст. Куняева, назвал их “ретроспективной склочностью”. В своем заключительном слове Станислав Юрьевич ответил на упрек шуткой, в которой точно подметил безответность любого творческого контакта с писателем, ушедшим в мир иной: “Но ведь Чехов тоже помер и ничего не может возразить Эфросу по поводу постановки им “Вишневого сада” или “Трех сестер”.

Через тридцать лет в “Лейтенантах и маркитантах” Ст. Куняев вновь вернулся к этой теме. Он говорит об обвинениях, которые звучали в статьях О. Кучкиной, Е. Евтушенко, А. Туркова и других авторов в связи с публикацией его статьи “Ради жизни на земле” (“Молодая гвардия”, 1987, № 8). Отвечая защитникам П. Когана, М. Кульчицкого, Б. Слуцкого и т. д., защитникам, повторяющим аргументы “адвокатов” Э. Багрицкого, Станислав Куняев сказал исчерпывающе точно: “Но житейская мудрость – “о мертвых или хорошо или ничего” годится только на гражданских панихидах, тем более что я не говорил ничего плохого о личностях, а не соглашался лишь с идеями. Идеи переживают людей, и, когда изнашиваются, время сбрасывает их. Такое всегда происходит в истории культуры. Вспомним, какие споры бушевали, да и еще бушуют вокруг имен Достоевского, Маяковского, Есенина...” (“Наш современник”, 2007, № 9).

Симптоматично, закономерно выглядит и защита Ф. Кузнецовым Вс. Мейерхольда, авангарда. Вновь его голос звучал в унисон с А. Борщаговским, А. Эфросом, Е. Евтушенко. Последний вполне определенно высказался о месте авангарда в истории нашей литературы: “<...> Лучшая часть того, что создано нашим авангардом революционным и авангардом двадцатых годов, неотъемлемо стало частью нашей классики, на которой мы воспитываемся и на которой будут воспитываться наши дети”.

Это был ответ, в первую очередь, Петру Палиевскому, который своим выступлением открыл дискуссию и который его полностью посвятил проблемам авангарда и интерпретаторства. Петр Васильевич справедливо говорил об авангарде как о левом искусстве, полярном, противоположном классической культуре, как о противнике, который в лице своих представителей вел борьбу на уничтожение классики. В этом контексте оценок закономерным видится определение авангарда как “передового мракобесия” (Римский-Корсаков), приводимое П. Палиевским. И все же в разносторонних характеристиках Петра Васильевича, на мой взгляд, не хватает главного: какими предстают человек, природа, мир у авангардистов. То есть не хватает того подхода, который использовал Ст. Куняев в своем блистательном анализе поэзии Э. Багрицкого как явления авангарда.

Некоторые “левые” отметили в выступлении П. Палиевского некую защищенность, недоговоренность. И действительно, такое впечатление периодически возникает прежде всего из-за минимального количества примеров, фамилий. Не избежать вопросов, которые, в частности, озвучил Ф. Кузнецов: “Потому что если идти этим путем, то как быть с Маяковским? Куда мы денем Маяковского? Если идти этим путем, то, так сказать, мы должны полностью отказаться, скажем, от Мейерхольда”. Феликс Феодосьевич четко уловил, куда ведет неприемлемая для него логика выступления П. Палиевского: к от-

казу от В. Маяковского и Вс. Мейерхольда как от русских поэта и режиссера. Только в случае с Мейерхольдом у него хватило решимости договорить до конца, а с Маяковским – нет.

Эту логику уловил не только Ф. Кузнецов. Евгений Евтушенко начал свою речь с защиты Маяковского от Петра Палиевского. Правда, его защита свелась, к сожалению, о том, что в зале не было В. Маяковского, который бы ответил Палиевскому (более чем странное желание), к воспоминаниям о беседе с матерью поэта, к пересказу известных фактов и версий. В том числе такой: “Как же Маяковский мог “продаваться большевикам”, если он был убежденным человеком, он с ранней своей юности был большевиком”.

Позиция Е. Евтушенко понятна, закономерна. Для “левых” В. Маяковский всегда будет “своим”, одним из лучших поэтов XX века. За три десятилетия в восприятии В. Маяковского внешне изменилось многое, но по сути – ничего. “Левые” ценили и ценят поэта за его космополитизм и русофобство, за полный разрыв со всем традиционно-русским миром (Богом, духовностью, нравственностью, литературой, культурой, бытом и т. д.), за любовь к Лиле Брик и евреям, за словотворчество и т. д.

Нет ничего удивительного в том, что в популярных и провальных книгах “левых” авторов: Д. Быкова “Пастернак” (М., 2006), Б. Сарнова “Маяковский. Самоубийство” (М., 2006) – В. Маяковский характеризуется как достойнейший человек и гениальный поэт. Вызывает недоумение, что до сих пор для многих “правых” В. Маяковский – русский поэт. Нежелание или боязнь назвать поэта своим именем – русскоязычным автором – проявились и во время дискуссии “Классика и мы”.

Думаю, точнее других в оценке В. Маяковского был Серго Ломинадзе, хотя и он не прошел путь до логического конца. Возражая А. Борщаговскому и Е. Евтушенко, С. Ломинадзе заявил: “Линия Маяковского, как мне представляется, конечно, не может быть совместима в русской литературе с линией, допустим, Есенина. Это две разные линии, и линии, борющиеся между собой”. И после дважды приведенных блоков цитат из произведений обоих поэтов Серго Ломинадзе продолжил уточнять свою точку зрения: “Это принципиально иные позиции. И их совместить в евклидовом мире почти невозможно”; “Это линии, в пределах искусства враждующие”.

Евгений Сидоров (посредственный критик, достигший известных высот при новой власти) в своем вступительном слове перед началом дискуссии пытался направить ее в правильное, идеологически выверенное русло. Об этом свидетельствуют формулировки вопросов, которые Евгений Юрьевич предлагал обсудить: “<...> Что есть наша духовная классика и всякое ли прошлое плодотворяще. От какого наследства мы отказываемся, и что мы берем с собой в коммунистическое далеко”. То есть дискуссии предлагалось вести с атеистических, классовых, марксистско-ленинских позиций, что снимало вопрос о духовности как таковой. И все же призывы Е. Сидорова, которые я приводить не буду, свидетельствовали о некоторой его озабоченности тем, что дискуссия может пойти в ином направлении.

Как известно, в 60–70-е годы в творчестве многих поэтов, прозаиков, критиков утверждается последовательный и непоследовательный религиозно-православный подход к человеку и миру, к русской классике в частности. Например, до дискуссии (в один год с дискуссией вышла уникальная для своего времени книга Ю. Лощица “Гончаров”), которая сразу вызвала переполох у официальных и либеральных авторов. Так что у Е. Сидорова и не только у него были основания для опасений, и они оправдались.

Скажу кратко только об одном примечательном явлении. В ходе дискуссии немало авторов характеризовало русскую классику прежде всего как духовную (не в сидоровском, конечно, понимании) реальность. Так, Михаил Лобанов в пике устоявшемуся подходу к классике XIX века как критическому – критикующему – реализму, справедливо утверждал, “что главное в ней – не обличение, а <...> глубина духовно-нравственных исканий, жажда истины и вечных ценностей”. Михаил Петрович, пожалуй, единственный из участников дискуссии, кто трактовал литературу через категорию тайны как высшей потребности души. Нашим русскоязычным ерофеевым не мешало бы читать такое перед эфиром или сном, быть может, излечились бы или хотя бы поуменьли. Итак, литература, по Лобанову, “гибнет, когда нет никаких загадок, ничего сокрытого, есть только то, что лежит на поверхности, что целиком

исчерпывается видимым и наглядным. Литература гибнет, если она погружена в этот внешне застывший материал, в пестроту сиюминутного, не соединяется с высшими потребностями человеческого духа. Это не литература, а гроб эмпирический”.

В содержательных и разносторонних характеристиках классики, данных Игорем Золотусским и Ириной Роднянской, для меня наиболее важным является то, что русская литература определяется через идеал, абсолют, который по понятным причинам до конца не идентифицирован. Например, “они нам оставили это некое идеальное отношение к миру, которое идет как бы поверх действительности, хотя и не теряет с нею связей”; “но вместе с тем они всегда умели парить над действительностью и ощущать идеальное существо человеческой жизни” (И. Золотусский).

Закономерно, что многие авторы XX века испытания высокими идеалами классики не выдерживают. Из негативных оценок, данных участниками дискуссии, приведу высказывание Ирины Роднянской, на которое не отреагировал никто. Она, говоря об интерпретаторах разного рода, в желании “во всем узнавать только свое, все адаптировать, приспособлять к “своему” видит “некоторое предательство минувших поколений”.

Итак, ход дискуссии “Классика и мы” и все последующие события подтвердили правоту С. Ломинадзе, который утверждал, что “мира в искусстве не будет, конечно, и призывы к миру, они, в общем, не имеют под собой почвы”. И “третья мировая война”, о которой так хорошо сказал Ю. Селезнев, идет, и по-прежнему она не стала отечественной. И “победители” те же, и задачи, стоящие перед русскими писателями и критиками, перед русским человеком, те же.